

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

БУЛАВКА БОЛИ

Валерий Черешня. Узнавание. – М: Издательские решения, 2018. – 330 с.

Книга составлена из четырех выходивших прежде сборников, к которым добавлены стихи последних десяти лет. Книгу можно назвать итоговой: на текущий день она представляет собой самое полное собрание стихов Валерия Черешни и дает возможность говорить о поэте и его стихах как об отдельном явлении в современной русской поэзии.

Взгляд поэта устремлен в мнимость мира, его ущербность, недолговечность. Стихи Черешни – это расщепление видимой, будничной жизни. Обыденность при ближайшем рассмотрении оказывается декорацией, переклеенными обоями, перекрашенной крестовиной окна, отсутствием *твоего* запаха в комнате, в которой тебя больше нет; комната подготовлена для новых жильцов; в зеркале новой жизни, напоминает поэт, отражается жизнь прежняя, – сквозящим, чеховским мemento мори. С такими декорациями нет необходимости в действующих лицах: в стихах Черешни задник сцены выступает на передний план. В этой «будничной» книге-драме, длиной в несколько десятков лет и более чем триста страниц стихотворного текста, повседневность, ее беспощадность, становится осязаемой:

Вот он умрет, и дети умрут – кто-то здесь будет
жить, переклеит обои, покрасит окна,
запах и тот вытеснит новым, своим.
Скажет: теперь хорошо, наконец-то устроен
дом моей жизни, которого столько я ждал,
дом моей жизни.

Черешня, поэт-наблюдатель, выдерживает дистанцию между собой и предметом/явлением/событием, привлечшим его внимание; наблюдение почти всегда ведется на расстоянии, через стекло окна, квартирного или вагонного, через линзу памяти. Промежуток, зазор между поэтом и миром проясняет взгляд в сторону увиденной, драгоценной подробности. Человек просыпается засветло и смотрит в окно: «Какой покой в обыденных словах, / написанных на следующий вечер, / когда от света – еле видный след, / зажившая царапина, но утром / те пять минут, когда привычка жить / еще не обрела привычной власти, – вся чернота холодной зимней ночи / да две полоски света на стене / от окон, где проснулись часом раньше...»

График стихотворной функции Черешни – волны телеграфного провода в окне скорого поезда, их попеременная искривленность к земле и небу. Сперва – дневниковое, штриховое фиксирование увиденного, потом – (вы)падение наружу, в неминуемое слияние с «вислой нитью проводов вдоль окна»: «Вислая нить проводов / тянет свое вдоль окна, / с горькой покорностью вдов / вниз опускаясь и на- / верх выбираясь, опять / вкось полосую пейзаж... / Что у живущего взять, / кроме прорех и пропаж, / кроме осенней земли, / в комьях тяжелых, буграх, / кроме безумной семьи, / в прах разлетевшейся, в прах».

Окружающий поэта мир часто – это, как правило, пейзаж с изъяном, но он-то и подталкивает Черешню к любованию миром: выкошенный газон нью-йоркского предместья – «смертелен» в своей осенней стерильности; пустырь возле спального района – «пейзаж, зачитанный до дыр»»; его «сухое дерьмо под июльской травой», «царапающее» дно становятся для поэта «лучащимся искомым светом». Происходит претворение взгляда наружного во внутренний, и это – очень важная, узнаваемая черта стихов Черешни. Приведу один из многих примеров поэтической зоркости, сдвоенного взгляда – наружу и в себя: в стихотворении «Джазовый мотив» в «походке», «повадке» нью-йоркской ночи, вглядываясь в «сплошную впритык парковку», в «кленовый лист, распластанный в слякоть по тротуарам» поэт узнает себя, свое «существованья лицо немое».

Неторопливые стихи Черешни начинаются с паузы, проглоченной слюны, переведенного дыхания; слова уходят в разрыв, цезуру. Межсловесная пауза акцентируется и расширяет смысловое поле строки. Смысл слова проясняется не только за счет его первичного значения, но и за счет пустот между прочитанным/произнесенным словом и соседними словами; в эти щели дует ветер затекста. Если выбирать из четырех натурфилософских стихий, стихи Черешни – конечно, от воздуха, его сухости или влажности (роящейся дождевой взвеси). Воздух, который остается после прочтения. И всё же поэт, как требует того ремесло стихотворца, должен преодолевать паузу. Покой может наступить лишь тогда, когда будет сказано первое слово, и сдвинется воздух: «Но как любить огромное дыханье / пустующего дня, кто им заговорит, / когда весь мир из тяжелого молчанья / несозданных стихов, возможно, состоит».

Стихи Черешни – *тексты тихие*, такие на площади скандировать невозможно, в них отсутствует желание удивить, подпустить «бури и натиска», а «бедные» рифмы, по верному замечанию Марии Галиной¹, говорят об экономности стиховой материи. Поэт никогда не подыгрывает читателю, да и стихи Черешни не предполагают моментальный отзыв, между поэтом и читателем находится некий зазор, как бы «ничейная земля», обоюдное пространство, по Баратынскому, «признательного смиренья» и «утоленного разуменья»: «Ты перерос поэзию почти. / Пора, пора ее перерастить...» В таком лирическом пространстве поэту потребен не столько читатель, сколько собеседник.

Стиховая интонация поэта, ее, по слову В. Гандельсмана, «спокойное достоинство и равновесие»² направлены к ясности, сфокусированности восприятия: «плоть щеп», питающая огонь, чтобы не ослеп вечер; «сухой свет звезд» сквозь угольную мглу; «поджарость снега» и «промытого воздуха» окраин, изморозь холодной природы – всё это вещно, и если говорить о тонической и смысловой ясности петербургской поэзии блоковского разбора (Черешня, родившийся и выросший в Одессе, большую часть жизни провел в Ленинграде-Петербурге), то это – она: «Вкось тебя дуновеньем снесет, – / за кровинку заката держись. / Варвар Время в пустыне пасет / замечательно гулкую жизнь».

Пейзаж книги составлен, в том числе, из прочитанных поэтом текстов, прозаических и стихотворных. Можно говорить об органичном, внутреннем средстве между

¹ М. Галина. Там, где он находится, не танцуют // Новый Мир. 2009. № 9.

² В. Гандельсман. Свое время: о поэзии Валерия Черешни // Интерпоэзия. 2009. № 2.

миролюбованием поэта и чужими, вернее, уже не чужими, а прожитыми насквозь текстами: Кафка, температурающий и повторяющий в бреде об искореженной страсти упорных зверей; Рильке, возвращающий вобранный в себя свет; ироничный, «чуть лукавящий» Сократ; Иов, просящий бога «отступиться от него, не обращать внимания на такую малость, как человек, дать проглотить слюну»; гоголевский Башмачкин, шепчущий «что я вам сделал, оставьте, не мучьте меня»; Бунин с его «терпким вкусом готовности к любви и смерти». Среди уловленных, не столь очевидных отсылок – Тютчев, Ходасевич, Мандельштам. Мандельштамовское «мы с тобой на кухне посидим» проблескивает в строфе: «Каково зайцу под облетевшим кустом, / когда свора-жизнь хочет взять живьем, / и теперь беги – не беги жнивьем, / всё равно, – кричат, – всё равно убьем, / – так и мы с тобой, так и мы живем».

В стихах Черешни присутствует паскалевское болезненное ощущение работы сознания. Поэт «прижимается к мысли», как Одиссей прижимался к обломкам плота, чтобы не погибнуть. Дело поэзии не в ответе на «вечные» вопросы, а в их особой постановке, и стихи Черешни ставят вполне паскалевские: «Кто меня сюда поместил?» и «Чьей волей и властью назначено мне это место и это время?»

Схватиться, прижаться, что есть силы,
к мысли, родной и горячей,
пока еще не остыла,
не стала чужой и незрячей.

Это – овеществленная работа надорванного сознания, когда сознание фиксирует надрыв, происходящий в себе, и, вглядываясь-вчитываясь в предметы и явления, становится предметом собственного изучения. Не зря же вспоминается Паскаль, а с ним – Монтень и Декарт:

Пока еще ты жив, и на булавку боли
не наколот Господь сознание твоё,
смотри, смотри, – зимой убито поле,
там бьются жизнь и смерть, полощется белье,
как флаг победы тех, кто к битве непричастен...

Несмотря на дистанцию, которую поэт устанавливает между собой и миром, или, возможно, благодаря ей, в этих стихах ощутима связь, почти как у древних греков, между жизнью и смертью, светом и тьмой: «Если жизнь раздвинуть – увидишь смерть, / если смерть раздвинуть – увидишь... / Увидишь». При всем этом стихи Черешни собственным своим присутствием противостоят исчезновению; они – о незабывании, о «нерасплескивании» памяти, которая может ударить в висок «закатным солнцем», как в стихотворении «Июль», где поэт вспоминает о своем одесском детстве. Черешня осторожно раскладывает прустовский пасьянс:

...и хрустит на зубах вездесущий одесский песок,
и течет помидорный с крупинками мякоти сок
с подбородка на детскую вену.

Черешня помогает бытию быть, становясь честным его (бытия) свидетелем, и тогда время останавливается и пошатнувшись, как шкаф, миру возвращается равновесие, как будто «пенсне или ключи» Ходасевича, наконец, найдены навечно: «Я не знаю – как, / и не вижу – что. / Застегни пиджак, / запахни окно. / Можно только так / время перетечь: / застегнуть пиджак, / передвинуть вещь. / Можно только здесь / бытию помочь: / у окошка сесть / и увидеть – ночь».